

Содержание

Иероним Ясинский	
У детей на елке	7

Антон Чехов	
На пути.	12

Варвара Андреевская	
Рождественская елочка.	40

Лидия Авилова	
Маски	43

Евгений Салиас	
Две елки.	59

Павел Засодимский	
Зима	114

Николай Лейкин	
Христославы	131

Николай Соловьев-Несмелов	
Христославы	152

Евгения Аверьянова
Иринкино счастье 169

Аркадий Аверченко
Большое сердце. *Рождественский рассказ* 397

Степан Кондурушкин
Ночь 404

Иероним Ясинский
(1850–1931)

У детей на елке

Дети в нарядных пестрых платьицах и праздничных курточках застенчиво столпились в зале. Я вижу белокурые маленькие лица, вижу черные и серые глазки, с наивным любопытством устремленные на красивую гордую елку, сверкающую мишурным великолепием. Бонна зажигает свечи, и, точно пожар, вспыхивает елка в этой большой комнате, где кроме детей сидят поодаль взрослые — мужчины и дамы.

От елки по паркету вытянулись легкие причудливые тени, и на разноцветную толпу детей, точно на букет цветов, рассыпавшийся в беспорядке, падают яркие лучи.

Я люблюсь детьми. Нельзя не заглядеться на этих милых крошек, чистых, как ангелы, с невинным прошедшим и с радужным будущим. Когда отцам цена грош, все надежды возлагаешь на детей. В самом деле, не стоило бы, да и нельзя было бы жить, если б не было детей. Жизнь точно река. Она берет начало

из бесконечности и впадает в бесконечность. И если теперь волны ее мутны, то, может, со временем грязь осядет, и их сменят прозрачные, кристальные струи...

Я думал эту думу, глядя на детей. И меня особенно пленяла трехлетняя крошка, с коротко остриженными черными волосиками, с голыми пухлыми ручками, с голыми коленками. Она была в беленьком платьице, низко перевязанном лентой огненного цвета. Она посматривала на елку с восторгом и недоумением. Может быть, она первый раз видела елку. Но как только ей хотелось шумным движением выразить свою радость, она в страхе косилась на угол, где неподвижно стоял старик в черном сюртуке и с гладко выбритым лицом. Я вскоре заметил, что все дети боятся этого старика. Оттого они так застенчивы и так не по-детски приличны.

Когда детям были розданы подарки, и гувернантка заиграла на фортепьяно, и дети стали танцевать, чинно и скучно, каждый раз благодаря своих дам, усиленно шаркая ножкой и разговаривая между собою шепотом, я подозревал знакомую девочку-гимназистку и спросил:

— Скажите, кто этот старик?

Она покраснела, засмеялась и хотела убежать, но я удержал ее за руку.

— Отчего же вы не отвечаете?

— Это Старый год, я его так прозвала! — проговорила она чуть слышно, лукаво сверкнув своими карими глазками, и затем прибавила: — Потому что он самый старый здесь! Сейчас тот мальчик рассказал нам, что Старый год ужасно злой. И бедная Соня, — она указала на крошечную девочку, которая мне так понравилась, — чуть не заплакала от страха... А знаете, мне пришла мысль назвать ее Новым годом... потому что она самая молоденькая!

Сказав это, гимназистка бросилась от меня со всех ног и, схватив Соню на руки, закружилась по комнате. Старик нахмурил густые седые брови, нижняя губа его отвисла. Соня увидела его и расплакалась. Дети, разыгравшиеся было, притихли.

Я подошел к старику. Он тупо взглянул на меня и сказал:

— Веселятся!.. Глупые! Поставь им елку, навешай того, сего, прочего, и довольно... Юный возраст! Юный возраст!

— Дети как дети, — произнес я, чувствуя себя почему-то неловко перед этим глубоким стариком.

— Это ваша девочка? — с кислой гримасой спросил он, указывая на гимназистку, издали поглядывавшую на нас не очень-то дружелюбно.

— Нет. У меня нет детей.

— Счастливый человек вы, милостивый государь, — проговорил старик.

Я взглянул на него с изумлением.

— А у вас есть дети?

Старик отыскал глазами икону, висевшую в противоположном углу, и набожно сказал:

— Благодарение Господу Богу моему, не имел и не имею... И не буду иметь! Я ненавижу детей, — убежденно произнес он.

— Откуда ж у вас такая ненависть к детям? — спросил я.

— Я, милостивый государь, вот уж двадцать лет директором учебного заведения и имел время возненавидеть их...

Он распространился в описаниях детских шалостей; губа его отвисала все больше и больше, и было неприятно смотреть на его брезгливое и жестокое лицо.

Когда он кончил, я сказал:

— А ведь они не ошиблись. Вы знаете, все эти дети, вот эти милые, хорошие дети, с неиспорченными благоухающими сердцами, не любят вас. Эту девочку, вон видите, в беленьком платьице...

— Знаю я ее, скверная девочка, — проговорил старик.

— Так эту девочку, — продолжал я, — дети прозвали Новым годом, а вас — Старым годом.

И так как старый год был отвратительный год, то из этого вы можете заключить...

Старик посмотрел на меня, нахмурившись.

— Поверьте, что их наказывать надо. Сегодня елка, завтра розги. Я изумляюсь, милостивый государь, что вы находите в них милого и благоуханного. А впрочем — честь имею быть вашим покорнейшим слугою.

Он сухо и гневно поклонился. Больше мы не разговаривали. Ровно в двенадцать часов уехал этот старик. Моя гимназистка захлопала в ладоши. Маленьких увезли раньше. Остались только дети лет по десяти, по двенадцати. Но Соня тоже осталась. И когда, среди внезапного оживления, дети закружились с громким смехом около потухшей елки, крошечная девочка вертелась тут же, весело поедая конфеты, белая, как пушинка, в красном колпаке, доставшемся ей в подарок, и кричала:

— Я — Новый год! Я — Новый год!

Январь 1884

Антон Чехов
(1860–1904)

На пути

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана...
Лермонтов

В комнате, которую сам содержатель трактира, казак Семен Чистоплюй, называет «проезжающей», то есть назначенной исключительно для проезжих, за большим некрашеным столом сидел высокий широкоплечий мужчина лет сорока. Облокотившись о стол и подперев голову кулаком, он спал. Огарок сальной свечи, воткнутой в баночку из-под помады, освещал его русую бороду, толстый широкий нос, загорелые щеки, густые черные брови, нависшие над закрытыми глазами... И нос, и щеки, и брови, все черты, каждая в отдельности, были грубы и тяжелы, как мебель и печка в «проезжающей», но в общем они давали нечто гармоническое и даже красивое. Такова уж, как говорится, планида русского лица: чем крупнее и резче его черты, тем кажется оно мягче и добродушнее. Одет был мужчина

в господский пиджак, поношенный, но обшитый новой широкой тесьмой, в плюшевую жилетку и широкие черные панталоны, засунутые в большие сапоги.

На одной из скамей, непрерывно тянувшихся вдоль стены, на меху лисьей шубы спала девочка лет восьми, в коричневом платице и в длинных черных чулках. Лицо ее было бледно, волосы белокуры, плечи узки, все тело худо и жидко, но нос выдавался такой же толстой и некрасивой шишкой, как и у мужчины. Она спала крепко и не чувствовала, как полукруглая гребенка, свалившаяся с головы, резала ей щеку.

«Проезжающая» имела праздничный вид. В воздухе пахло свежевывмытыми полами, на веревке, которая тянулась диагонально через всю комнату, не висели, как всегда, тряпки, и в углу, над столом, кладя красное пятно на образ Георгия Победоносца, теплилась лампадка. Соблюдая самую строгую и осторожную постепенность в переходе от Божественного к светскому, от образа, по обе стороны угла, тянулся ряд лубочных картин. При тусклом свете огарка и красной лампадки картины представляли из себя одну сплошную полосу, покрытую черными кляксами; когда же изразцовая печка, желая петь в один голос с погодой, с воем вдыхала в себя воздух, а поленья, точно очнувшись,

вспыхивали ярким пламенем и сердито ворчали, тогда на бревенчатых стенах начинали прыгать румяные пятна, и можно было видеть, как над головой спавшего мужчины вырастали то старец Серафим, то шах Наср-Эддин, то жирный коричневый младенец, таращивший глаза и шептавший что-то на ухо девице с необыкновенно тупым и равнодушным лицом...

На дворе шумела непогода. Что-то бешеное, злобное, но глубоко несчастное с яростью зверя металось вокруг трактира и старалось ворваться вовнутрь. Хлопая дверями, стуча в окна и по крыше, царапая стены, оно то грозило, то умоляло, а то утихало ненадолго и потом с радостным, предательским воем врывалось в печную трубу, но тут поленья вспыхивали, и огонь, как цепной пес, со злобой неся навстречу врагу, начиналась борьба, а после нее рыдания, визг, сердитый рев. Во всем этом слышались и злобствующая тоска, и неудовлетворенная ненависть, и оскорбленное бессилие того, кто когда-то привык к победам...

Очарованная этой дикой, нечеловеческой музыкой, «проезжающая», казалось, оцепенела навеки. Но вот скрипнула дверь, и в комнату вошел трактирный мальчик в новой коленкоровой рубашке. Прихрамывая на одну ногу и моргая сонными глазами, он снял пальцами со свечи, подложил в печку поленьев и вышел. Тотчас же

в церкви, которая в Рогачах находится в трехстах шагах от трактира, стали бить полночь. Ветер играл со звоном, как со снеговыми хлопьями; гоняясь за колокольными звуками, он кружил их на громадном пространстве, так что одни удары прерывались или растягивались в длинный, волнистый звук, другие вовсе исчезали в общем гуле. Один удар так явственно прогудел в комнате, как будто звонили под самыми окнами. Девочка, спавшая на лисьем меху, вздрогнула и приподняла голову. Минуту она глядела бессмысленно на темное окно, на Наср-Эддина, по которому в это время скользил багряный свет от печки, потом перевела взгляд на спавшего мужчину.

— Папа! — сказала она.

Но мужчина не двигался. Девочка сердито сдвинула брови, легла и поджала ноги. За дверью в трактире кто-то громко и протяжно зевнул. Вскоре вслед за этим послышался визг дверного блока и неясные голоса. Кто-то вошел и, стряхивая с себя снег, глухо затопал валяными сапогами.

— Чиво? — лениво спросил женский голос.

— Барышня Иловайская приехала... — отвечал бас.

Опять завизжал дверной блок. Послышался шум ворвавшегося ветра. Кто-то, вероятно,

хромой мальчик, подбежал к двери, которая вела в «проезжающую», почтительно кашлянул и тронул щеколду.

— Сюда, матушка-барышня, пожалуйста, — сказал певучий женский голос, — тут у нас чисто, красавица...

Дверь распахнулась, и на пороге показался бородатый мужик, в кучерском кафтане и с большим чемоданом на плече, весь, с головы до ног, облепленный снегом. Вслед за ним вошла невысокая, почти вдвое ниже кучера, женская фигура без лица и без рук, окутанная, обмотанная, похожая на узел и тоже покрытая снегом. От кучера и узла на девочку пахло сыростью, как из погребка, и огонь свечи заколебался.

— Какие глупости! — сказал сердито узел. — Отлично можно ехать! Осталось ехать только двенадцать верст, все больше лесом, и не заблудились бы...

— Заблудиться-то не заблудились бы, да кони не идут, барышня! — отвечал кучер. — И Господи Твоя воля, словно я нарочно!

— Бог знает куда привез... Но тише... Тут, кажется, спят. Ступай отсюда...

Кучер поставил на пол чемодан, причем с его плеч посыпались пласты снега, издал носом всхлипывающий звук и вышел. Затем девочка видела, как из середины узла вылезли две

маленьких ручки, потянулись вверх и стали сердито распутывать путаницу из шалей, платков и шарфов. Сначала на пол упала большая шаль, потом башлык, за ним белый вязаный платок. Освободив голову, приезжая сняла салоп и сразу сузилась наполовину. Теперь уж она была в длинном сером пальто с большими пуговицами и с оттопыренными карманами. Из одного кармана вытащила она бумажный сверток с чем-то, из другого вязку больших, тяжелых ключей, которую положила так неосторожно, что спавший мужчина вздрогнул и открыл глаза. Некоторое время он тупо глядел по сторонам, как бы не понимая, где он, потом встряхнул головой, пошел в угол и сел... Приезжая сняла пальто, отчего опять сузилась наполовину, стащила с себя плисовые сапоги и тоже села.

Теперь уж она не походила на узел. Это была маленькая, худенькая брюнетка, лет 20, тонкая, как змейка, с продолговатым белым лицом и с вьющимися волосами. Нос у нее был длинный, острый, подбородок тоже длинный и острый, ресницы длинные, углы рта острые, и, благодаря этой всеобщей остроте, выражение лица казалось колючим. Затянутая в черное платье, с массой кружев на шее и рукавах, с острыми локтями и длинными розовыми пальчиками, она напоминала портреты средневековых

английских дам. Серьезное, сосредоточенное выражение лица еще более увеличивало это сходство...

Брюнетка оглядела комнату, покосилась на мужчину и девочку и, пожав плечами, пересела к окну. Темные окна дрожали от сырого западного ветра. Крупные хлопья снега, сверкая белизной, ложились на стекла, но тотчас же исчезали, уносимые ветром. Дикая музыка становилась все сильнее...

После долгого молчания девочка вдруг заворочалась и сказала, сердито отчеканивая каждое слово:

— Господи! Господи! Какая я несчастная! Несчастней всех!

Мужчина поднялся и виноватой походкой, которая совсем не шла к его громадному росту и большой бороде, засеменил к девочке.

— Ты не спишь, дружок? — спросил он извиняющимся голосом. — Чего ты хочешь?

— Ничего не хочу! У меня плечо болит! Ты, папа, нехороший человек, и Бог тебя накажет! Вот увидишь, что накажет!

— Голубчик мой, я знаю, что у тебя болит плечо, но что же я могу сделать, дружок? — сказал мужчина тоном, каким подвыпившие мужья извиняются перед своими строгими супругами. — Это, Саша, у тебя от дороги болит

плечо. Завтра мы приедем к месту, отдохнем, оно и пройдет...

— Завтра, завтра... Ты каждый день говоришь мне завтра. Мы еще двадцать дней будем ехать!

— Но, дружок, честное слово отца, мы приедем завтра. Я никогда не лгу, а если нас задержала вьюга, то я не виноват.

— Я не могу больше терпеть! Не могу, не могу!

Саша резко дрыгнула ногой и огласила комнату неприятным визгливым плачем. Отец ее махнул рукой и растерянно поглядел на брюнетку. Та пожала плечами и нерешительно подошла к Саше.

— Послушай, милая, — сказала она, — зачем же плакать? Правда, нехорошо, если болит плечо, но что же делать?

— Видите ли, сударыня, — быстро заговорил мужчина, как бы оправдываясь, — мы не спали две ночи и ехали в отвратительном экипаже. Ну, конечно, естественно, что она больна и тоскует... А тут еще, знаете ли, нам пьяный извозчик попался, чемодан у нас украли... метель все время, но к чему, сударыня, плакать? Впрочем, этот сон в сидячем положении утомил меня, и я точно пьяный. Ей-богу, Саша, тут и без тебя тошно, а ты еще плачешь!